

части. Камень, лежащий на треклятом раздорожье, следовало украсить еще одной надписью: «На месте стояти — в дураках быти». Остаться на месте для Алексева значило продолжать тянуть три лямки сразу — мучаясь, срывая сроки, крутясь белкой в колесе, страдая бессонницей, доводя себя до сердечных приступов и в итоге оставаясь виноватым перед всеми сразу.

Савва Мамонтов говорил Алексеву, что в начальных эскизах картины витязь был повёрнут к зрителю лицом, а главное, перед ним лежали дороги. В последней версии живописец развернул витязя боком, чтобы не сказать, задом, а дороги вопреки всякой логике убрал к чёртовой матери — якобы для пущей эмоциональности, чтобы зритель видел: у витязя нет другого выхода, кроме указанного на камне: «Живу не бывати». Камень, глухая степь, череп человеческий и лошадиный, да ещё чёрный ворон в низком вечернем небе.

Как мизансцена — потрясающе.

Как жизненная перспектива — отвратительно.

«Вы только не стреляйте!»

Костя Филин в сотый раз глянул на ступеньки банка — так, искоса, краем глаза. Подступал вечер, в мутном, исхлѣстанном метелью сумраке ничего не разглядел бы и настоящий, лесной филин. Боясь проморгать сигнал, Костя развернулся к банку лицом, и колючий снег мигом втиснулся за воротник кожуха, морозными иглами ожѣг щѣку, набился в ухо и начал, сволочь, подтаивать. В ухе заворочался липкий и холодный слизняк. Костю передѣрнуло, он выругался сквозь зубы, выпростал наружу толстый вязаный шарф и упрятал в него всю нижнюю часть лица. Шарфа хватило и на многострадальное ухо. Ну вот, другое дело, жить можно.

Долго они там ещё?

Бокѡв^[4] у Филина не было, но он поклялся бы, что торчит возле банка уже битый час — хотя на самом деле не прошло и тридцати минут. «Зря стою, — решил Костя. — Уже давно бы управились и водкой грелись. Ветошником^[5] больше, ветошником меньше — какая, к чёрту, разница?»

Дверь распахнулась. На ступеньки упал жѣлтый прямоугольник яркого *электрического* света, и в метель шагнул потешный фраерок в мохнатой лисьей шубе, круглых очочках и профессорской шапке «пирожком». Фраерок взмахнул рукой, подзывая извозчика, открыл было рот — и метель с изуверской радостью влепила туда добрую пригоршню снега. Костя сдавленно хмыкнул в кулак: а не разевай хлебало! Фраерок с возмущением отплевался, замахал обеими руками, что твой ветряк. Минута, другая, и рядом остановился извозчик.

На Николаевской площади их хватало.

Едва сани уехали, дверь банка приоткрылась снова. Наружу высунулся Ёкарь. Завертел кудлатой цыганской головой, призывно вскинул могучую ручищу, словно тоже жить не мог без извозчика. Костя отлепился от стены. «Ну, — сказал он себе, — делу время, потехе час. Долго запрягали, быстро поедем».

Паберегис-с-сь!

х х х

С разных сторон к банку уже спешат остальные, ждавшие, как и Филин, отмашки Ёкаря. Один поскользывается, падает, но тут же вскакивает, отряхивает снег с тулупа, ковыляет ко входу. Утка, чистая тебе утка на льду! Хихикая, Костя выцепляет взглядом Гастона, которого втайне зовѣт Гастритом. Про такую болезнь Филин слышал от студента-медика, лечившего сестру Дуняшу от маяты в желудке. На доктора с дипломом и в очочках, как давешний фраерок, у Кости не было *грѡшей*, на Александровскую больницу, что на Тюремной площади (тьфу-тьфу-тьфу, не про нас будь сказано!) — тем более, даром что лазарет для малоимущих. А студент к Дуняше неровно дышал и душу бы сатане продал, лишь бы пощупать

девку на законных основаниях. Ох, эти *грдши*! Вечно их нет, когда надо. Родители Филина сторели при пожаре, когда у Кости ещё усы не росли, а Дуняша и вовсе под стол пешком ходила. Бабка загоревала да и померла следом. С тех пор сестра оставалась на попечении брата, готового зарезать всякого, кто на Дуняшу косо глянет. Девка видная, добрая, хозяйственная, жаль, здоровьем удалась в дохлого воробья: что ни съест, рёзьями маётся, а то и блюёт. Из-за неё Костя и в жиганы пошёл, чтобы червонцы рекой. Пойти пошёл, только на серьёзные дела его не брали, брезговали, дразнили маломерком и дурьей башкой. Один Гастон, добра ему полные руки, сжалился. Теперь заживём! И *грдши* будут, и студент Дуняшу за себя возьмёт, в церкви повенчаются, хату на Москалёвке поставят, нарожают Филину племянников, старшего Гастоном назовём...

Есть в святцах такое имя — Гастон? Наверняка есть, как не быть...

В присутствии Гастона у Кости без видимой причины сводит живот: Гастрит, натуральный Гастрит! Есть в нём что-то, от чего мурашки по хребту. За версту видно: гастролёр. Так Гастрит и не скрывает: из серьёзных, не чухня, ясен пень. Дело стоящее предложил, и ведёт себя путём, с уважением...

В овчинном кожухе, как и Филин, надвинув шапку-ушанку на брови, Гастон-Гастрит ждёт у дверей, пропускает всех внутрь. Нет, не всех: сам входит четвёртым. Филин вваливается следом, на ходу достаёт из кармана нагретый в ладони «Smith&Wesson». Револьвер взяли с убитого фараона — валил околоточного надзирателя не Костя, Костя только купил оружие с рук за тридцатку, и ещё патронов на шесть рублей сорок копеек. Револьвер тянет руку, в низу живота возникает предательское верчение — да что ж такое, в самом деле?!

Со злым щелчком Костя взводит курок, и живот отпускает.

— Работаем!

Сапоги гулко топают по ступеням, застеленным бордовой ковровой дорожкой. Оставляя за собой оплывающие кучки снега, налётчики взбегают на второй этаж. Навстречу суётся усатый хрен в заношенном, но ещё чистом мундире унтер-офицера. Его с ходу прикладывают рукояткой по кумполу, и сторож «уходит в тёмную», обмякнув в углу.

— Руки вверх! Это налёт!

Ёкарь не подвёл: в зале нет ветошников, только четверо банковских за стойкой. Подняли руки, шары вылупили — трясутся.

— Ты! — Гастон тычет стволом в ближнюю крысу. — Выгребай деньги.

Бросает на стойку мятый мешок:

— Всё выгребай, живо! Сюда кидай.

— Стоять-не-дёргаться! Кто пёрнет — завалю!

Это не Гастон. Это расхристаный чернявый шпендрик с мятым хайлом. Костя его не знает, и век бы не знал, ей-богу! Древний «Lefauchaux» с исцарапанным восьмигранным стволом ходит в руках шпендрика ходуном. Того и гляди, пальнёт почём зря. На кой чёрт Гастон взял на дело это ракло^[6]?!

Гастон морщится. Но на словах встаёт за шпендрика горой:

— Все слышали? Делайте, что вам говорят, и все останутся живы.

Взгляд и ствол упираются в каждого банковского по очереди. Кажется, что Гастон пересчитывает кассиров, замерших в испуге. Ствол останавливается на старшем:

— Открывай сейф.

Грузному дядьке лет под пятьдесят. Он не двигается с места.

— Жить хочешь?! Греби деньги лопатой.

У дядьки судорожно дёргается кадык. Он силится что-то сказать, но не может. Речь возвращается лишь со второй попытки:

— ...ключи!

— Что — ключи?

— Они в кабинете управляющего.

— Ну так принеси. Он, — Гастрит кивает Косте, — тебя проводит.

Костя кивает в ответ. Держит кассира под прицелом, следует за ним в коридор, начинающийся сбоку от стойки.

— Ты — на шухере у окна. Гляди в оба! — слышит он за спиной распоряжения Гастона. — Ты подгребай сюда бабки. Ты стань у входа, вы двое держите их на мушке...

«Грамотно», — думает Костя, пока дядька отпирает дверь в кабинет управляющего. Щёлкает выключателем, над потолком вспыхивает люстра. В ярком свете, словно мальчишки на летнем берегу реки, нежатся обитые бархатом кресла-пузаны. Шкаф во всю стену, широченный стол с бумагами и банковскими книгами; с краю приткнулась чёрная штукovina, от неё в угол течёт аспидный хвост-провод. Небось, тоже что-то электрическое, лучше не трогать!

— Ключ где?

— Станислав Евграфович в столе держат-с.

— Бери и пошли!

Кассир бочком протискивается мимо стола, дёргает ящик.

— Заперто!

— А ну, отзынь.

Держа кассира на мушке, Костя обходит стол.

— Который ящик?

— Верхний.

И правда заперто, не соврал банковский. Куда ему баки вкручивать: вон, в угол забился, рожа белей извёстки. Того и гляди, в ящик с перепугу сыграет.

— Спокойно, дядя. Стой, не мельтеши. Дыши ровно, я разберусь.

Зря, что ли, Филин фомку в кармане носит? Пригодилась, родимая. Стол на вид солидный, а замѸк на ящике хилый: крак! — и готово.

— Этот ключ?

— Он самый, не извольте сомне...

— Сейф где?

— Там.

— Где «там»?

— Вы только не стреляйте! В зале сейф.

— Зал где?!

— В кассовом зале! Там, где ваши. Сзади, за перегородкой.

— Веди.

«Грòши, — думает Костя, топя обратно. — Теперь заживём! Студент Дуняшу за себя возьмёт, хату на Москалёвке поставят...» Он прямо видит её, Дуняшину хату. Белёные стены расписаны васильками, в красном углу — иконы и вышитые рушники. Да, и люстра. Электрическая! Люстра обязательно — в горнице, над столом.